

Люмпен

Автор:

[Алиса Дерикер](#)

Люмпен

Алиса Дерикер

Реальность кажется нам предельно ясной, но порой всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Этот рассказ о очевидных и неочевидных вещах, и, прежде чем судить, нам стоит узнать всю историю.

Содержит нецензурную брань.

Алиса Дерикер

Люмпен

Я проснулся от холода. Как пересохло в горле! Какая срань! И как холодно. Пиздец как холодно, аж сопли в носу застывают. Когда просыпаешься от холода обратно уже не уснуть, это бесполезно, так что приходится открывать глаза и вставать. Зубы стучат так, что сводит челюсть, темно, где-то недалеко скребёт метла по асфальту в предрассветных сумерках. Солнце ещё не встало, а я уже встал в несусветно ёбаную рань.

Обычно я не матерюсь. Только когда много выпью. Но вчера был именно такой день: отмечали день рождения Таньки, много пили, и водка, кажись, оказалась палёной. Где теперь Танька и мужики – не знаю, почему я проснулся один в парке – тоже загадка. Кроме разрывающей головной боли и холода больше ни о чём думать не могу. Сука.

Мне пришла мысль сесть, чтобы не замёрзнуть, но от этого только закружилась голова: мысль оказалась твоей. Я кряхтел, как старый пень, усаживаясь, руки и ноги негнущиеся, деревянные, всё тело, затекшее от лежания на твёрдой лавочке, болит, ломит каждый сустав. Меня колотило, изо рта выбивался пар. Да, уж, глупая фраза «не май-месяц» не про Питер, май у нас всегда холодный, ничего не скажешь.

Я высморкался на первую весеннюю траву, отлил, после этого стало легче. Колотило по-прежнему сильно, но мутило уже не так. Дотронулся до кармана – телефон лежит на месте. Без телефона в наше время никак нельзя. Руки тряслись, ноги подкашивались, и пришлось снова сесть, стуча зубами. В груди толчками билось сердце, как будто чужое, как будто не моё, всё клокотало, душил кашель, и я опять испугался, не подцепил ли я где-нибудь туберкулёз.

Меня всего трясло, но идти не было сил, я сидел, кашлял и кряхтел, медленно раскачиваясь взад и вперед, пытаюсь унять дрожь, сплёвывая вязкую желтую мокроту на асфальт. Видимо, водка была палёная, – ещё раз пронеслось в голове. Мыслей вообще было мало, мысли ходили по кругу, как лошади на арене. Я не мог понять, где я, да это и не имело никакого значения: мне некуда было идти. Первые машины зашуршали по асфальту, где-то слева занимался рассвет. Знать, что есть солнце – уже вся жизнь, – пронеслись в голове слова из "Братьев Карамазовых" что ли. Фёдор Михайлович знал это ощущение, точно знал. Видать, и ему доводилось проходить через тьму.

Дрожь постепенно унималась, и я начинал приходить в себя. Ёбаная срань, – навязчиво крутилось в голове. Мне огромных усилий стоило не материться, а как тут не материться, когда просыпаешься от холода и боли в спине на твердой лавочке в парке? Но это было чрезвычайно важно. Образ мыслей – это образ человеческого сознания, и если сознание замусорено матом, то носитель этого сознания начинает терять облик человека разумного.

Замкнутый круг: трезвым спать не ляжешь – не уснешь, а напьёшься – так с утра трясёт всего и настолько всё равно становится, что теряешь последние признаки человечности. Поэтому есть простое правило: не пить при свете дня и не пить, если есть где поспать в тепле. Но вчера был Танькин день рождения и всё пошло наперекосяк.

Я стараюсь держаться, пока еще стараюсь, но это очень-очень трудно. Я спал на вокзале, жил с месяц в окружении бомжей с Петроградки, но это конченные,

опустившиеся люди. Они могут мочиться в штаны, они могут украсть у тебя из кармана телефон, они матерятся, не моются, и им всё равно как от них пахнет и как они выглядят. Поэтому я ушел с Петроградки, взял себе за правило регулярно мыться, старался не ругаться, по возможности, хотя бы вслух, чтобы сохранить ещё то, что от меня осталось.

За деревьями начало вставать солнышко. По-прежнему было холодно, но меня уже так не трясло, только руки подрагивали, и изредка по телу пробегала судорога, как стреляло: с макушки и до пят. Я снова закашлялся и сплюнул на землю уже вязкую пену. Это хорошо. Когда постоянно харкаешь какой-то слизью – дурной знак, значит, скоро в ящик.

Вот она, ирония судьбы: я всю жизнь презирал невымытых бродяг, считал их чем-то вроде плесени на фасадах домов, животными, не людьми, а теперь я стал одним из них. Я бомж, я моюсь раз в неделю, а то и реже, я ночую на улице и мне некуда идти. Не изменилось только одно: я продолжаю любить Петербург, считаю его своим городом. Другое дело, раньше я полагал, такие как я портят, позорят наш город, своим видом "оскорбляют человеческое достоинство", а вот теперь я смотрю на проблему будто бы изнутри. Что человек, когда он занят только сном и едой? Животное, не больше. Мысль, где на долю мудрости всегда три доли трусости. М-да, это вопрос...

Солнце встаёт, становится теплее, хочется жить вечно, да где-то прогадал... Чижовская песня, очень сейчас она в настроение. Холодно, тошно, голова кружится, и хочется только одного: чтобы всё это кончилось. Чтобы очнуться наконец-то в тепле своей постели, и понять, что это был страшный сон. Но это не сон. Приходится пить, просто, чтобы выжить, меняя страшную и болезненную смерть на долгую и мучительную, выгадывая себе пару лет. А зачем всё это?

Хочется воды. А лучше чаю. Только где ж его взять? Приходится идти так. Просто идти, чтобы хотя бы согреться. Идти и не материться, идти и думать как человек. Иногда я представляю, что пишу повесть. Это очень помогает – в повести не бывает мата, и всё, даже обычный обсосанный забор и грязно-серое небо выглядят задумчиво и значительно. И я мысленно пишу: краски ещё не вернулись в мир, он чёрно-белый, будто эскиз, будто грифельный набросок. Над чёрными силуэтами деревьев каркают первые вороны, на красно-розовом небе вырисовываются троллейбусные провода, и всё это раздражает меня. Метла дворника скребёт асфальт с таким звуком, какой бывает, когда царапнешь по доске ногтём вместо мела. Я всегда ненавидел этот звук.

Я могу думать об этих проводах на воне неба и о карканье ворон, но на самом деле мне просто хуёво. Нет, мне плохо. Меня тошнит, все внутренности крутит, как после испорченных консервов, нервно думаешь, что опять будет понос и единственное на что есть надежда – это не в штаны. Не под себя. Это последний рубеж.

Медленно оглядываюсь вокруг. Стараюсь не делать резких движений, чтобы не затошнило. Это очень тяжело, жалко себя до безумия: я ведь раньше бегал по утрам, в таких же розовых предрассветных сумерках. Хотел здоровеньким помереть, заботился об этой жалкой шкуре, об этой оболочке, и для чего? Для того чтобы гнить заживо на холодной и мокрой скамейке в парке. А, блядство, только стоит начать думать об этом, тут же слёзы подступают к глазам. Это запретная тема, хочешь выжить – нельзя себя жалеть. Никогда не думать об этом, никогда.

Язык прилип к потолку неба, меня мутит и мучает жажда, и чтобы немного согреться, я иду вперёд наугад. Название улицы мне ничего не говорит – Советский переулок. Я бреду не глядя, улица ещё пуста, на противоположной стороне улице мужчина с собакой, вот и всё. Ужасно раскалывается голова. Наконец-то я узнаю место: солнце высветило впереди купола Троицкого собора, еще немного и покажется ангел, запутавшийся в троллейбусных проводах. Перекрестившись, бреду к собору.

Никогда раньше не был верующим, мы воспитывались еще при советской власти, тогда попы были не в почёте. Но, оказавшись на улице, я стал иначе смотреть на церковь: церковь нас кормила супом. В субботу и воскресенье на набережной Смоленки или у Гостиного двора, во вторник и четверг на Проспекте Просвещения (а зимой в понедельник, среду и пятницу), в Армии Спасения по будним дням, кроме среды и пятницы, ну, и еще были какие-то мифические автобусы, но они то опаздывали, а то вовсе не приезжали: мол, всю еду раздали бездомным в другом районе, в общем, с автобусами было туго. А ещё была Мальтийская столовая, но туда нельзя было прийти невымытым, хотя там было хорошо, иногда давали даже мясо. И, если знать места, то можно было почти ежедневно где-то кушать.

На ночь, правда, нас в церковь не пускали, женщины высокими надтреснутыми голосами с достоинством говорили: "у нас, мол, тут не ночлежка", и в этих словах всегда чувствовалось превосходство, но к этому превосходству

привыкаешь – к превосходству верующего человека над неверующим. К превосходству живущего в квартире над бездомным. К превосходству человека над животным. Это удивительная вещь, но во всех церквях, в какие я заходил, женщины в платочках говорили со мной одним и тем же голосом: высоким, будто готовым вот-вот сорваться, голосом почти визжащим, где-то на самой грани истерики. Сёстры, матушки, прихожанки, продавщицы свечей – у них у всех был один и тот же голос, будто желающий крикнуть мне "пошел вон отсюда, скотина"!

И всё же у меня оставался осадок. Я крестился, я падал на колени, я молился, но на меня всё равно смотрели как на собаку, что жалобно скулит, когда ей уже давно велели заткнуться. И в тоже время я сознавал, что никто из них мне вообще ничего не должен, и милостыню нужно принимать с благодарностью. Церковь говорила "со смирением", но смирения во мне не было. Я был советским человеком, всю жизнь проработавшем в Петербурге, а теперь оставшимся на улице, и Петербургу было плевать на меня. Я провёл в качестве бездомного чуть меньше года, и всё ещё считал себя человеком с таким же достоинством, с такими же правами, как и у всех, и в этом была моя проблема. Они видели разницу между мной и собой, сознавали её так же отчетливо, как разницу между ночью и днём, а для меня, привыкшего уже спать урывками на холодных и мокрых скамейках, разница между ночью и днём начала стираться.

Двери Троицкого собора были закрыты: ещё слишком рано, служба начнётся только в десять, ждать часа три-четыре, не меньше. Я сел на жёсткий камень ступеней, от него шёл холод, но подстелить было нечего. Как давно уже я не сидел в мягком кресле, как давно уже не спал на кровати, мне кажется, всё это было где-то в прошлой жизни. Но это тоже запретная тема. Никаких воспоминаний, если хочешь жить.

Замёрзший, изнывающий от холода и жажды, я сидел на паперти, чувствуя себя персонажем "Униженных и оскорблённых". Какое это точное и верное название: ведь самое страшное не грязь, не запах нечистот и выделений, не грубость нравов, не болезни, не постоянный голод и жажда, самое страшное – постоянное унижение, к которому, впрочем, привыкаешь так же, как к голоду, грязи, болезням и нечистотам, которые и являются его постоянными атрибутами. И это тоже разница между человеком и животным: животные не оскорбляются тем, что им приходится есть с пола или пить из лужи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/deriker_alisa/lyumpen

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)